23.11.01

Булгаков М.

Человек — великая тайна, но и большая сволочь

Непрощенный

11 января 1929 года, Москва, Краснокаазарменная ул., 3.

... Солнце отражалось от твердого жесткого наста миллионами крохотных зеркал. Зимнее утро, прихваченное рождественским морозцем, кричало, пело, звенело о радости бытия птичьими голосами, скрипом снежка под ногами прохожих, далеким малиновым звоном с Крутицкого подворья и с Елоховки - такие редкие теперь звуки...

Человек, прятавшийся в темном углу коммунального коридора флигеля казарм, где проживали преподаватели школы «Выстрел», между старинным буфетом и книжным шкафом, перевел дыхание. Здесь было тепло, даже душно от чуть пригоревшей печки, из большой светлой комнаты, прямо напротив, сквозь приоткрытую дверь доносилось уютное сопение самовара, шаги, позвякивание ложечки о хрусталь.

- Яков! Ты идешь? - мелодичный женский голос позвал как будто издалека, - идешь? - повторил он нараспев.

- Иду, - раздался в ответ тяжелый голос, лишенный интонаций.

Скрипнула дверь кабинета, заныли, застонали половицы, и в проеме дверей, в лучах солнечного света показалась высокая фигура.

Человек в углу взвел курок нагана. Вошедший увидел его перекошенное, напряженное лицо с повисшей на носу каплей пота и разглядел наставленное на него дуло револьвера.

Он усмехнулся.

Квадрат солнца высвечивал теперь две фигуры - высокую, прямую убиваемого и согбенную - убийцы, как на картине Николая Ге «Что есть истина?» Но если и был высокий похож на Пилата, то уж никак - низкий - на Христа.

- Но ты, ловец, в какую даль проник за мной и вот поймал меня... - усмехнувшись, сказал высокий своим мертвым голосом, глядя в лицо убийцы, и на него глянули, показалось высокому, три глаза - собачьи и револьверный.

В наступившей тишине было слышно, как шуршали за обоями мыши. Человек в углу, стараясь не стучать зубами, крепче сжал рифленую рукоятку нагана. Капля, повиснув на его носу, нехотя, как бы раздумывая, сделала движение вниз и оторвалась от пористой кожи. В верхних, цветных, как изразцы, стеклах буфета отразилось навсегда уходящее от высокого солнце.

Так встретил утро 11 января 1929 года бывший последний властитель Крыма генерал Яков Слащов.

10 июня 1920 г., вблизи г. Мелитополь.

- А мы вашу даму - по усам, по усам, - смеясь, корнет Ла Форе кинул короля, - вот так-то, господа артиллеристы!

Трое офицеров-дроздовцев конной батареи сумрачно глядели на кучу карт и денег на подстеленной плащ-палатке. Внезапно один из них, поручик Арсеньев, поднял голову и прислушался.

- Ка...- успел выговорить он. В следующий миг с неба дунуло, и тень промелькнула почти отвесно. Граната упала точно в центр круга, на карты и деньги, и ушла глубоко в землю.

На секунду все остановилось, четыре фигуры, как зачарованные, смотрели на дымок, вившийся из глубины, ездовой чуть поодаль, чистивший Дуру, кашевар и даже дым над котлом, где варился похищенный во славу белого оружия баран, солнце, отражавшееся от купола колоколенки, где засел красный корректировщик - все изменилось и стало далеким, ненужным, как будто случайно увиденным.

«А я ведь выиграл, черт, как обидно», - мелькнула глупая мысль в голове Ла Форе, и в этот момент в глубине земли что-то даже не взорвалось, а так - порскнуло.

- Ка...камуфлет! (Камуфлетом называется летящая издали и падающая отвесно, не дающая разрыва граната. - Здесь и далее - **прим. автора.**) - как будто бы закончил свою мысль Арсеньев. - Чертовское везение, господа!

Поручик Серебряный, батареец, провел рукой по лицу, как бы снимая сонную одурь. «Господи, я жив, - билась мысль в висках, и не было даже удивления - как будто он знал заранее, что не может умереть. - Спасибо тебе, Господи...»

- Седлать, заамуничивать! Не курить, не разговаривать и не шуметь! - донеслась команда. «Раз не курить - значит, красные совсем рядом, - уныло подумал кашевар, заливая огонь, - барана так и не доварим»...

... Колонна белых верховых и батарея пробирались низом, оврагами. Около трех часов дня атака белой пехоты на хорошо укрепленные окопы красных захлебнулась, и пехота побежала. Красные части корпуса Жлобы не выдержали и, вылезя из окопов, бросились вдогонку, коля штыками отступавших. Белые бежали все резвей, и красные потеряли всякий строй в преследовании, в опьянении успехом и кровью.

- Пора, Ваше превосходительство, - шепнул Ла Форе, состоявший адъютантом при Слащове и успевший оправиться после камуфлета, - ей-Богу, пора...

Генерал-лейтенант Слащов сидел на складном стульчике на сопке в окружении штабных и вроде бы отстраненно глядел на разыгрывающуюся у сопки драму. Вытянутая в сторону фронта раненая нога ныла все сильней.

- Ваше превосходительство, Яков Александрович, да ей-Богу, пора! - чуть не плача повторил Ла Форе.

Слащов обернулся и оглядел фигуру своего семнадцатилетнего адъютанта - от запыленной фуражки и чернильных звездочек на погонах, от адъютантского аксельбанта на груди до запыленных сапог.

- Сапоги, корнет, потрудитесь вычистить, - произнес командующий и, вновь заглянув в вытянувшееся лицо адъютанта, добавил: - после атаки, конечно... Действуй, Саша!

Ла Форе взлетел на Черта одним движением, и через минуту из леска вылетела конная лава белых. С ходу врубившись в гущу красных, они завертелись среди потерявших всякий разум людей, и только визги казаков, только хэканье при ударах, только хрипы умиравших и жуткие, разрывающие плоть удары под ржанье ополоумевших коней, да конский топот - все, что было слышно из огромной людской кучи, катившейся к Мелитополю. Победа белых была полной. Артиллерийские батареи на рысях шли за наступавшими полками и не могли угнаться.

- А в Мелитополе-то отдохнем! - весело крикнул Арсеньев, поравнявшись с Серебряным. - Ведь там хохлушечки, да и жидовочки-комиссарши, наверное, не все удрали!

Поручик Серебряный, еле держа повод в левой руке, не ответил. Дура ступала осторожно, выбирая, куда поставить ногу, чтобы не наступить на трупы, усеявшие бесконечное поле. Но было почти невозможно провезти орудия, не задев павших. Казаки, преследовавшие красных, выместили всю злобу и горечь войны на отступавших - некоторые удары с точки зрения конных были великолепны - черепа срезаны блюдцем и открыты, как крышки коробки, которые держались лишь на лоскутке кожи. Понятно было, как в древности делали кубки из черепов - они были почти готовы.

Поручик Сергей Серебряный слез с Дуры и пошел впереди своего орудия, тщательно выбирая дорогу между трупами, чтобы не раздавить их колесами. Но ездовые сзади старались наехать на головы, и те лопались, как арбузы.

- Рыков, Безуглов, вашу мать! - сквозь зубы цедил поручик, - люди вы или нет?

- Да что вы, вашбродь, случайно ведь, видит Бог! - не стеснялись божиться те и тряслись от мелкого, задушливого хихиканья, когда колесо наезжало на очередную голову.

Поручик вскочил на Дуру и уехал вперед, чтобы не слышать этого ужасного хруста и отвратительного гогота, когда еще не совсем мертвый красный дергался конвульсивно. «Неандертальцы, звери, ублюдки, - шептал поручик, - нелюди, нелюди...»

- Стой! - раздался сзади окрик, - стой, шалава, тебе говорю!

Поручик обернулся. Рыков спрыгнул с повозки и поднял щенка, выпавшего из мешка зарубленного длинного красноармейца. И вдруг все разжалобились:

- Нельзя же его здесь оставить! Он ведь погибнет.

- Осторожно ты, своими лапищами, - бурчал с передка Безуглов, - он же маленький, задушишь.

- Дозвольте, вашбродь, кутенка на батарею забрать? - весело спросил Рыков, держа в руках бело-рыжего щенка и стоя по щиколотку сапог в грязи и крови, - мы его на довольствие поставим!

Поручик смотрел на его круглое веснушчатое лопоухое лицо, на щенка, на трупы, на гогочущих солдат и думал - что это? Господи, что это? После гогота над дерганьем умирающего?

... Колонна белых тянулась через необозримое поле. Трупы лежали всюду, насколько хватало глаз. Орудия ехали также, не разбирая дороги, и также порой лопались черепа, но уже никто не смеялся. Задумчиво смотрели солдаты на чужие, окончившиеся здесь неизвестно за что, в угоду неизвестно кому жизни. Притих и щенок на коленях у Рыкова, и только чавкала грязь, только храпели порой лошади, да изредка доносился стон недорубленного, и тогда кто-нибудь из верховых, перекрестившись, стрелял в умиравшего из карабина. И не было этому полю конца.

Дура, вырвавшись на проселок, пошла веселее. Поручик не сдерживал ее, покачиваясь в седле и стараясь больше не смотреть окрест. «Человек, конечно, великая тайна, но и большая сволочь», - внезапно пришло в голову ему.

15 ноября 2001 года, Турция, Истанбул, 2 часа пополудни.

... Вечный город пел и звенел, взрываясь в ушах гомоном своих базаров и музыкой из сотен, тысяч лавчонок. Солнце не жалило сейчас, поздней осенью, как летом, но все равно мне, северянину, было тепло и без пиджака. Два веселых квартала на 11-миллионный город лежали передо мной, и, казалось, все мужчины Истанбула, побросав дела, ринулись сюда. Грязный узкий проход между улицами Кемералты и Неджатибей был полностью забит страждущими плотских утех, и я свернул к тому, что расположен вверх по улице Юксек-Калдырым, что ведет к Галатской башне - она мне показалась не такой переполненной.

... Сотни, тысячи мужчин с выпученными глазами, с руками в карманах брюк, работая локтями в невероятной давке, пробивают себе дорогу к краткому и сомнительному счастью. Сорок с лишним публичных домов образуют спадающий вниз проход, толпа молчит и тяжело дышит, лишь крики торговцев рубашками, носками и часами раздаются вокруг.

Старые, кажущиеся ветхими здания, заплеванные лестницы, безобразные старухи с огромными грудями, говорящие на всех языках мира, рекламируют свой живой товар. Можно не опасаться за языковый барьер - большинство девочек здесь - из бывшего СССР, цена любви для самых истерзанных воздержанием (сколько оно длится? час? неделю?) - от 5 долларов. За пятьдесят «зеленых» - приличная девушка, наряженная школьницей, банты на русых волосах, гольфы, передник.

Узкий пенал, в который вмещаются топчан и душ за занавеской, вокруг, в таких же загонах для скота - охи, ахи и стоны, бормотания и взвизги.

Через час «мамаша» стукнет в щелястую дверь - или плати еще, или выметайся.

- Из Крыма я, - говорит девочка. - Ехала, думала, стриптиз будем танцевать, а как паспорт по приезде отобрали, так вот и танцую тут уже полгода...

- Откуда из Крыма?

Она смотрит на меня подозрительно - странный клиент, не лапает ее, не валит на топчан, не берет наскоро, задыхаясь. Что ему нужно, может, полицейский? Да что полицейский, они сами сюда каждый день наведываются.

- Из Севастополя, - помедлив, отвечает она.

Я - не полицейский. И уже не журналист. И не писатель. И не режиссер. И не ловец приключений, хотя последнее - ближе. Я не могу объяснить сам себе, откуда во мне этот интерес, почему я преследую тень белого генерала, который год, как червь, вгрызаясь в архивы, как конь, бороздящий просторы Таврии, как больной манией подглядывания человек, страницу за страницей изучающий чужую жизнь. И все так же, который год, маячит впереди, то чуть ближе, то чуть дальше, высокая фигура в длинной кавалерийской шинели с грязевым подбоем, шаркающей походкой бредущая поодаль, почти рядом, в потустороннем прозрачном мире - бывший правитель Крыма, всадник и вешатель, генерал Яков Слащов.

Он иногда оборачивается и смотрит на меня, чуть усмехаясь, и идет дальше. И всегда рядом - фигурка поменьше, в кавалерийском полушубке, в папахе, из-под которой видны огромные глаза и полуулыбка, ободряющая и дарованная мне, когда она оборачивается, - вечный спутник и невенчанная жена Нина, по спискам Белой Армии проходящая как «мичман Нечволодов», личный адъютант и последний преданный генералу человек, дважды раненная и дважды спасавшая ему жизнь - они бредут из ниоткуда в никуда, судимые и рядимые всеми, оболганные, поруганные, убитые, но не упокоившиеся - они могут успокоиться, покуда неспокойно мне, а я им - седьмая вода на киселе, не родственник и не знакомец, никто, но я послушно бреду за ними - поодаль, чуть левее, почти след в след, и только у них под ногами - январский снежок 29-го года да скрип фонарей позади, а у меня - то крымская грязь, то незалежность в самостийной Украине, то московский бедлам, а сейчас - дощатые стены лупанария на Юксек-Калдырым, где русская девочка за пятьдесять долларов рассказывает мне, почем он, фунт лиха, и почем она, копеечка, и что такое для русских заграница, когда впереди - пусто, а позади - ничего.

... И сквозь поток толстопузых мужчин с выпученными глазами, тяжело тащущихся сквозь ее пенал, - по десять за ночь, нет-нет, да и мелькнет тень в шинели без погон, в черкеске без газырей, в сапогах без шпор, в застиранной гимнастерке или залатанном камуфляже - ветераны каких войн, герои каких сражений, у которых также - пусто и ничего, они приходят сюда, но не с пятьюдесятью долларами, а с засаленной пятеркой, чтобы получить кусочек своего тепла и счастья, вдали от Родины, желая забыться и мечтая вернуться, - они приходят уже сто лет, иногда заглядывают и в храм, не очень понимая, в чем их вина, и не слишком веря в молитвы, и в бардаке потухшим взором смотрит на них русская девочка, в храме - русские святые, спасибо, Господи, хоть без укора, а в спину, через Черное море, через Европу и Азию, где бы они ни были, им молча смотрит Россия, и их счастье, если это - выплаканные глаза матери, значит, еще есть куда и есть зачем возвращаться, но чаще Родина им смотрит воспоследствии стылыми глазами пустых и заплеванных площадей, где на брусчатке - кровь и где им лгали - то с Лобного места, то с Мавзолея, призывая под знамена и продавая людские души и солдатские тела как самый ходовой, каждый год подрастающий вместо убиенных, свободно конвертируемый товар.

15 июня 1920. Северная Таврия.

- Что вы мне, поручик, «камуфлет» да «камуфлет»! - горячился корнет Ла Форе. Даму я вашу покрыл, пардон за скабрезность, как кобель сучку, или не покрыл? Так извольте платить!

- Идите вы к черту, корнет, - как всегда, слегка грассируя, тянул поручик Арсеньев, следя за обширной задницей хозяйки, ворочавшейся у печки, - какой выигрыш, когда и деньги, и карты граната в воронку утянула?

- Так хоть водки ставьте! - не унимался корнет, блестя глазами. - Карточный долг, господин поручик, - это вам не девок по хуторам прижимать.

- Господа офицеры! - вдруг крикнул Серебряный, растянувшийся на кровати и вмиг с нее соскочивший, левой рукой одергивая гимнастерку и правой застегивая ворот.

Вскочили и Арсеньев с Ла Форе, выпрямилась с ухватом в руках молодуха у печки. В хату входил шаркающий кавалерийской походкой, в длинной солдатской шинели с бурым грязевым подбоем последний правитель Крыма, вешатель и георгиевский кавалер, генерал Яков Александрович Слащов.

- Стул мне, - негромко приказал он, и мгновенно два казака подвинули ему огромное кожаное кресло, явно из господского дома, доставшееся хозяевам при дележе награбленного.

- Сидите, господа, - сказал генерал вытянувшимся офицерам. - Чайку в этом доме найдется?

Хозяйка охнула и засуетилась, и через секунду подала на серебряном (господском?) подносике стаканчик самогону и ломоть крестьянского хлеба на дощечке с толсто порубленным салом.

Генерал выпил самогон механически, поморщился, отщипнул корочку посмачнее и отмахнулся от сала.

Хата постепенно наполнялась штабными, Ла Форе куда-то исчез, а Серебряный с Арсеньевым неловко чувствовали себя в присутствии командующего корпусом.

- Да вы не тушуйтесь, господа, - чуть улыбнувшись, сказал Слащов, - я на минутку, пока авто мое починят...

Странна была его улыбка - бескровные, чуть раздвинувшиеся губы обнажили зубы, и тут же потухла улыбка, и гримаса какой-то внутренней, застарелой боли сменила ее, и генерал, как нахохлившаяся птица, ушел в себя, втянув голову в плечи.

Всем в хате стало тесно, повисла тишина, хозяйка старалась не шуметь, раздувая самовар, офицеры придумывали повод, чтобы исчезнуть, и лишь два казака за спиной генерала чувствовали себя относительно спокойно, но их взгляды из-под лохматых папах ясно говорили, что они зарежут и черта, если их любимому генералу будет угрожать хоть малейшая опасность.

Слащов сидел молча, глядя в скатерть с петухами, и не отреагировал, когда Арсеньев, прокашлявшись, спросил вполголоса:

- Ваше высокопревосходительство, разрешите выйти в батарею?

Урядник глазами показал на дверь, и офицеры, как нашкодившие щенки, вырвались наружу, где в пыли молоденький шофер в английском френче возился у машин да конвойная сотня донцов, спешившись, перекуривала.

- Принесла нелегкая командующего, - сказал Арсеньев. - И надо ему было поломаться у нашей хаты?

- Да ладно вам, - улыбнулся Серебряный, - не отобьет он вашу красавицу...

Арсеньев вскинулся, но тут подошел Ла Форе.

- Господа! Не желаете познакомиться с большевичком? Комиссара поймали, да немалого, с золотыми часами.

Артиллеристы и адъютант подошли к группе казачьих офицеров. Чуть поодаль, у самого автомобиля, стоял комиссар, весь в черной коже, но золотых часов и золотого же портсигара при нем уже не было.

Молодой подъесаул удивлялся:

- Почему среди убитых нет обезглавленных? Можно ли, господа, одним ударом отсечь голову? Видишь иногда прекрасные удары - череп рассечен наискось, а вот отрубленных голов не видал.

Старший офицер, приземистый подполковник, объяснил:

- Чтобы отрубить голову, вовсе не надо слишком сильного удара. Это вопрос положения, а не силы. Нужно находиться на том же уровне и рубить горизонтальным ударом. Если конный противник нагнется, а он всегда нагибается, то горизонтальный удар невозможен. Пехоту же мы рубим сверху вниз... Эх, жаль, если бы подвернулся случай, я бы показал, как рубят голову.

- Простите, как ваша фамилия? - спросил Ла Форе комиссара.

Тот протер круглые очки, откашлялся и сказал:

- Рубинштейн. Сергей Рубинштейн.

- Это что, композитор, что ли? - удивился Арсеньев, и кругом засмеялись.

Улыбнулся и пленный.

- Нет, к композитору Рубинштейну я не имею касательства, - сказал он. - Я закончил физический факультет Петербургского университета.

Кто-то удивленно присвистнул, и пленного окружили. Ему протянули папиросу, и он вертел ее в толстых пальцах, стесняясь попросить огоньку.

- То есть вы - человек образованный и в Бога, стало быть, не веруете, раз служите безбожной власти? - спросил Серебряный, впрочем, не испытывая к пленному никакой ненависти, а лишь отчасти - любопытство.

Комиссар пожал плечами и стесненно улыбнулся.

- Видите ли... - сказал он. - Я прекрасно понимаю, что нахожусь отнюдь не среди единомышленников, но я считаю, что человек - существо исключительно физическое.

В этот момент Слащову доложили, что можно ехать, и он вышел на улицу.

Все вытянулись, и даже комиссар подобрал живот.

Слащов подошел вплотную и спросил у Ла Форе:

- Кто это, и что он делает около моего автомобиля?

- Из штаба Жлобы, ваше высокопревосходительство, - почтительно доложил адъютант. - Мне думалось, вы захотите его допросить...

- Вовсе нет. У меня масса работы. Потрудитесь разобраться сами.

Слащов сел в автомобиль, пыль вырвалась из-под колес, и донская сотня по трое вряд стала вливаться ему вслед.

- Вот случай, который напрашивается сам собой, - сказал пожилой.

Поручик Серебряный почувствовал, как у него пересохло во рту, он хотел крикнуть - «не надо, прошу вас!» - но что-то, похожее на любопытство, но уже более сильное, и неверие в происходящее одновременно подвели ему холодом живот и помешали.

Подполковник зашел за спину комиссара и сухим горизонтальным ударом отсек ему голову, которая покатилась на траву. Тело стояло еще секунду, потом рухнуло. Шея комиссара, толстая до того, вдруг сократилась в кулак, из нее выперло горло и полилась черная кровь.

Ла Форе затошнило, и он бросился прочь.

Все происходило без злобы, исключительно как демонстрация хорошего удара.

- Это что, - говорил пожилой. - Вот чтобы разрубить человека от плеча до поясницы, нужна сила. - Он вытер шашку о траву и сел на лошадь.

С гиканьем и свистом отставшие донцы бросились догонять сотню.

Серебряный и Арсеньев стояли посреди пыльной улицы, у их ног лежало обезглавленное тело, и два пехотинца уже вытряхивали комиссара из тужурки.

Офицеры вернулись в хату, Ла Форе молча подал им по стаканчику, и они выпили самогон, как воду.

Несколько минут была тишина.

- А все-таки, господа, человек - тряпка, - произнес Арсеньев. - Ну, что вы скуксились, господа офицеры? Он еще дешево отделался. Небось, красные бы наши души за просто так на тот свет не отпустили... Хозяйка! - крикнул он, - наливай! Да пожарь яишню, что ли...

- А я вам куренка варю! - приветливо отвечала казачка, стреляя глазами из-под платка.

- Да что нам на троих твой куренок? - грассировал Арсеньев, заходя к ней на кухню и задергивая за собой занавеску, - он, небось, не такой, как ты, упитанный?

В кухоньке что-то звякнуло и загремело, послышался взвизг хозяйки.

- Знаете, корнет, что я каждый раз забываю сделать, когда вижу казни? - спросил Серебряный. - Надо бы в лицо смотреть, чтобы видеть, как уходит жизнь, а я забываю. Или боюсь, - добавил он через минуту.

...Казачка и Арсеньев куда-то делись из хаты. Куренок закипал, и аромат бульона щекотал ноздри все сильней. Серебряный смотрел в окно. Пехотинцы еще возились у трупа. Наконец один, вынув папиросу из пальцев комиссара, заложил ее себе за ухо, и они, взяв обезглавленного за разутые ноги, потащили в проулок, на зады, где пленные красные закапывали своих расстрелянных товарищей под присмотром седого казака. Кровь мгновенно скатывалась в мягкой дорожной пыли в шарики, и они тянулись становящейся все уже тропкой за обезглавленным телом. А где-то на окраине уже жарила вовсю гармошка, слышались посвисты да притоптывания, и в послеполуденном мареве разносилось:

Барыня, барыня!
Сударыня, барыня!

Москва, ноябрь 2001 г.

Роман не то чтобы летел к концу, он и не думал начинаться. Я уже знал о судьбе генерала столько, что хватило бы не на одно повествование, но не мог ни заставить себя сесть за машинку, ни наговорить хоть пару глав на диктофон.

Образы и судьбы теснились в моей голове, и стояла в ушах фраза редакционной библиотекарши:

- Все, что связано с Булгаковым, имеет ярко выраженный потусторонний вкус...

Но не о Булгакове пишу я. Кто виноват в том, что первую редакцию «Бега» он закончил в 1927 году, и Слащов скорее всего пьесу читал? Ну что ж, Булгакову было тяжелее...

Но чертовщина продолжалась. В 1925 году генерал Слащов должен был играть себя в фильме о взятии Крыма и дал по этому поводу интервью газете «Большевик» - тогдашней «Московской правде». Фильм не сняли, номер газеты исчез из всех просмотренных мною подшивок во всех хранилищах. О Слащове неизвестно почти ничего и почти никому, единственное же ведомство, расположенное на Лубянке, и где Слащова видели без рентгена, хранило молчание, свысока улыбаясь и глядя на мои мучения.

Но я шел вперед. Вернее, я брел, я тащился за убиенным генералом, и на этом пути меня ожидали поистине удивительные находки.

Святая неделя 1999 года, Франция, Сен-Женевьев де Буа под Парижем, русское кладбище.

- А вот моя могила, - сказал розовощекий 64-летний Светлейший князь Голицын, стоя у памятника своим родителям, - я купил эту могилу по соседству, когда срок аренды на захоронение лежащего здесь какого-то генерала закончился, и, когда умру, мы опять будем все вместе.

Я тогда еще не знал, что румянец у князя - от нездорового сердца. Неделю он возил меня по всей Средней Франции, в качестве гонорара испросив только одно - говорить по-русски. Но я отвечал ему по-французски, и мы оба совершенствовались... Я тогда еще не знал, что последний из Светлейших Голицыных ляжет сюда через год.

- Борис, - спросил я, - а что, разве во Франции хоронят на время?

- Дорогой мой, - ответил он, улыбаясь, - мы не дома... Срок аренды могилы здесь - 25, 50 лет и навечно. Но у эмигрантов нет денег, максимум - на 25 лет, потом кости русские выкидывают в общую могилу под номерами, а сюда хоронят французов. Из 30 тысяч русских, спящих здесь, треть уже перезахоронили...

Меня пробрал озноб. Боже мой, даже после смерти на чужбине, уже упокоившись, они переживают еще одно изгнание! И ни имен, ни чинов, только крест над общей могилой и тишина.

...Три старухи, пара пожилых людей и один, лет 90, с явно офицерской выправкой, прямой, несмотря на палку, старик, сопровождали гроб. Хоронили какого-то старика, и главным в его жизни было то, что он сражался у Деникина кадетом-старшеклассником.

Борис заговорил со знакомыми, а я отошел. Для нескольких еще живых эмигрантов Белой волны и их потомков, за редким исключением, все приезжающие из России либо агенты КГБ, либо разбогатевшие бандиты, иногда - и то, и то в одном флаконе. Я зашел в кладбищенский храм и почти все мои деньги отдал на «содержание бесхозных могил». Дай Бог, чтобы этих денег хватило на то, чтобы выкупить у французского времени вечность хотя бы для одной русской души.

Роман не начинался. Странно, но генерала Хлудова в «Беге», чьим прототипом послужил Слащов, звали Роман.

Так вот, он не летел к концу. Но я уже знал, я твердо знал, что его последними словами будут: «в серой шинели с бурым подбоем, шаркающий кавалерийской походкой, последний правитель Крыма, генерал Яков Слащов».

Игорь ВОЕВОДИН.